ГЛАВА ПЕРВАЯ

Одри Вильнёв знала: то, что возникает перед ее мысленным взором, никак не может происходить на самом деле. Взрослая женщина, она прекрасно понимала разницу между видением и реальностью. Но каждое утро, отправляясь на работу из дома на восточной окраине Монреаля и проезжая по туннелю Виль-Мари, она видела это. Слышала. Чувствовала, как оно происходит.

Первым знаком станет красная вспышка стоп-сигналов, когда водители ударят по тормозам. Грузовичок впереди завихляет, его занесет, бросит в сторону. Дьявольский визг шин отразится эхом от безжалостных стен и обрушится на Одри, поглотив ее целиком. Гудки, вой сигнализации, скрежет тормозов, крики людей.

А затем она увидит, как огромные бетонные блоки начнут отваливаться от потолка, таща за собой клубок металлических вен и связок. Туннель вывернет наружу свои внутренности, удерживавшие всю структуру. Удерживавшие сам город Монреаль.

До нынешнего дня.

А потом, потом... овал света в конце туннеля закроется. Словно глаз.

И наступит темнота.

И долгое, долгое ожидание твоего превращения в лепешку.

Каждое утро и каждый вечер, когда Одри Вильнёв проезжала по этому инженерному чуду, соединяющему один конец города с другим, оно рушилось.

— Все будет в порядке, — с улыбкой сказала она себе. — Ничего не случится.

Она включила музыку погромче и принялась подпевать вслух.

И все же ее пальцы на рулевом колесе стало пощипывать, потом они похолодели и занемели, сердце забилось учащенно. Струя жидкой грязи брызнула на лобовое стекло. Дворники смели ее, оставив полумесяц в мутную полоску.

Движение машин замедлилось и наконец совсем прекратилось.

Одри широко раскрыла глаза. Такого прежде не случалось. Езда по туннелю и та вызывала ужас, что уж говорить про остановку. Мозги у нее отключились.

— Все будет хорошо.

Но из-за невыносимого шума в голове Одри не услышала собственного голоса, такого тонкого и слабого.

Она нажала локтем на блокиратор дверей. Не для того, чтобы никто к ней не ворвался, а чтобы самой не выскочить наружу. Слабая попытка не позволить себе распахнуть дверь и бежать, с криком бежать прочь из туннеля. Она ухватилась за руль. Крепко ухватилась. Крепко. Еще крепче.

Взгляд ее заметался по заляпанному грязью отбойнику, по потолку, по дальней стене.

Трещины.

Господи, трещины.

И небрежные попытки их залатать.

Не отремонтировать — спрятать.

«Это не значит, что туннель сейчас обрушится», — успокаивала она себя.

Но трещины расширялись, заглушая голос разума. Ожили все монстры ее воображения и стали рваться наружу, пытаясь протиснуться сквозь эти щели.

Одри выключила музыку, чтобы сосредоточиться, все ее чувства обострились. Машина впереди чуть продвинулась. И тут же остановилась.

— Давай, давай, давай, — взмолилась Одри.

Она оказалась в ловушке и была напугана. Бежать некуда. Туннель ужасен, но то, что ждало ее под серым декабрьским небом, было еще хуже.

Одри знала это много дней, недель, месяцев, даже лет, если уж быть откровенным. Монстры существовали. Они жили в трещинах туннеля, в темных переулках, в рядах аккуратных стандартных домиков. Их звали Франкенштейн, Дракула, Марта, Дэвид, Пьер. И они всегда оказывались там, где ты их совсем не ожидаешь увидеть.

Она посмотрелась в зеркало заднего вида и встретила взгляд испуганных карих глаз. Но в отражении она увидела и свое спасение. Свою серебряную пулю. Свой осиновый кол.

Это было красивое вечернее платье.

Она создавала его долгими часами. А ведь могла бы, должна была бы потратить это время на то, чтобы красиво упаковать рождественские подарки мужу и дочерям. Испечь для них сладкие звездочки, ангелочков, веселых снеговиков с пуговичками из конфеток и глазками из кусочков мармелада.

Но каждый вечер, вернувшись домой, Одри Вильнёв шла прямиком в цокольный этаж и садилась за швейную машинку. Склонялась над тканью изумрудного цвета и вкладывала все свои надежды в вечернее платье.

Она наденет его в праздничный день, придет на рождественскую вечеринку, оглядится вокруг и почувствует, как устремляются к ней удивленные взоры. Вечно одетая старомодно, Одри Вильнёв в облегающем зеленом платье окажется в центре внимания. Но такой успех ей не нужен. Ей требуется привлечь внимание всего лишь одного человека. А потом она сможет расслабиться.

Она скинет с себя тяжкий груз и будет продолжать жить дальше. Проломы будут ликвидированы, трещины заделаны. Монстры вернутся туда, где им и положено быть.

Впереди виднелся съезд на мост Шамплейна. Обычно она выбирала другой маршрут, но день сегодня выдался необычный.

Одри включила поворотник и заметила, как скривился мужчина в соседней машине. Что это она надумала? Их тут всех заклинило. Однако Одри Вильнёв заклинило больше, чем любого из них. Мужчина показал ей средний палец, но она не обиделась. В Квебеке такой жест считался дружеским приветствием. Если бы уроженец Квебека когда-нибудь создал ав-

томобиль, то на его капоте он нарисовал бы средний палец. В обычной ситуации она бы ответила таким же дружеским приветствием, однако сегодня ей было не до этого.

Она встроилась в правый ряд, намереваясь съехать на мост. От стены ее отделяли всего несколько футов. В одну из дыр вполне вошел бы ее кулак.

«Все будет хорошо».

Одри Вильнёв знала: многое ждет ее впереди, а вот что-то хорошее — вряд ли.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Заведи свою собственную сраную утку, — проворчала Рут и прижала Розу к себе, как живое пуховое одеяло.

Констанс Пино улыбнулась, глядя перед собой. Четыре дня назад ей бы и в голову не пришло обзавестись уткой, но сегодня она по-настоящему завидовала Рут с ее Розой. И не только потому, что утка согревала в холодный декабрьский день.

Четыре дня назад она бы ни за что не решилась покинуть удобное кресло у камина в бистро и усесться на ледяную скамейку рядом с этой женщиной, то ли пьяной, то ли выжившей из ума.

Четыре дня назад Констанс Пино не подозревала, что тепло приходит в разных формах. Как и здравомыслие. Теперь она знала это.

— Защи-и-и-и-ита! — прокричала Рут юным хоккеистам на замерзшем пруду. — Да бога ради, Эйми Паттерсон, даже Роза сыграла бы лучше!

Эйми проехала мимо, и Констанс услышала из ее уст слово, похожее на «шлак». Или на «злак». Или на...

— Они меня обожают, — сообщила Рут то ли Констанс, то ли Розе. То ли морозному воздуху.

— Они вас боятся, — возразила Констанс.

Рут посмотрела на нее острым оценивающим взглядом:

— Ты все еще здесь? Я думала, ты умерла.

Констанс рассмеялась, ее смех легким дуновением пролетел над деревенским лугом и смешался с дымком из труб.

Четыре дня назад ей казалось, что она никогда больше не засмеется. Но теперь, утопая по щиколотки в снегу и морозя задницу на скамейке рядом с Рут, она узнала кое-что новое для себя. Спрятанное здесь, в Трех Соснах, где сохранился смех.

Некоторое время обе женщины наблюдали за происходящим на деревенском лугу в полном молчании, если не считать странного покрякивания. Констанс надеялась, что этот звук производит утка.

Констанс и Рут были почти одногодками, но полными противоположностями. У первой был мягкий характер, у второй — жесткий. Констанс свои шелковистые длинные волосы собирала в аккуратный пучок, а Рут свои, непослушные, коротко стригла. Констанс была любезной, а Рут — резкой. Сплошные края и грани.

Роза зашевелилась и похлопала крыльями. Потом спрыгнула с коленей Рут на заснеженную скамейку, сделала несколько шажков к Констанс, забралась к ней на колени и устроилась поудобнее.

Рут прищурилась, но не шелохнулась.

С тех пор как Констанс приехала в Три Сосны, снег шел беспрестанно, днем и ночью. Всю свою взрослую жизнь она прожила в Монреале и уже забыла, каким прекрасным может быть снег. Она привыкла к тому, что снег — это нечто такое, что подлежит уборке. Своего рода мусор с небес.

Но сейчас она видела снег своего детства. Веселый, игривый, яркий и чистый. Чем больше, тем веселее. Не снег — игрушка.

Он покрывал дома из плитняка, из дерева, из розового кирпича, окружавшие деревенский луг. Он покрывал бистро и книжную лавку, пекарню и универсам. Констанс казалось, что тут поработал алхимик и плодами его трудов стали Три Сосны. Он создал деревню из воздуха и опустил в долину. А возможно, крохотная деревня, как и снег, свалилась с небес, чтобы обеспечить мягкую посадку для тех, кто упадет следом.

Приехав в деревню, Констанс поставила машину у книжного магазинчика Мирны. Когда снегопад перешел в метель, она забеспокоилась.

— Переставить машину? — спросила она у Мирны, перед тем как лечь спать.

Мирна остановилась у окна своего магазина старой и новой книги, обдумывая вопрос.

— По-моему, ей там самое место.

Ей там самое место.

И Мирна оказалась права. Констанс провела беспокойную ночь, прислушиваясь, не зазвучит ли сирена снегоуборщика, предупреждающая о том, что нужно откопать и переставить машину. Окна в ее комнате дребезжали под порывами ветра, швыряющего в них снегом. Она слышала, как вьюга завывает в ветках деревьев, между домами. Будто какой-то зверь вышел на охоту. Наконец Констанс уснула, согревшись под одеялом. Когда она проснулась, метель уже закончилась. Констанс подошла к окну, предполагая, что вот сейчас увидит свою машину, превратившуюся в белый холмик под толстым слоем нового снега. Но дорога оказалась расчищена, а все машины откопаны.

Машине Констанс было там самое место.

И Констанс наконец-то тоже.

Снег продолжал идти без перерыва четыре дня и четыре ночи, прежде чем Билли Уильямс вернулся со своим снегоуборщиком. И до его возвращения деревня Три Сосны утопала в снегу, отрезанная от внешнего мира. Но это не имело значения, ведь здесь было все необходимое.

Постепенно семидесятисемилетняя Констанс Пино осознавала, что она чувствует себя на своем месте не потому, что у нее есть бистро, а потому, что у нее есть бистро Оливье и Габри. Не просто книжный магазин, а магазин Мирны, пекарня Сары, универсам месье Беливо.

Она приехала сюда самодостаточной городской женщиной, а теперь, засыпанная снегом, сидела на скамье рядом с сумасшедшей старухой, и колени ей согревала утка.

Так кто из них спятил?

Но Констанс Пино знала: нет, она ничуть не сумасшедшая, напротив, она только сейчас взялась за ум.

— Я пришла спросить, не хотите ли вы выпить, — сказала Констанс.

— Бога ради, старушка, почему же ты с этого не начала? — Рут встала и отряхнула снежинки с пальто.

Констанс тоже поднялась и протянула ей утку со словами:

— Сперва хотела согреться.

Хмыкнув, Рут приняла и Розу, и шутку.

По дороге они встретили Оливье и Габри, шедших из своей маленькой гостиницы.

— Метелью геев намело, — заметила Рут.

— Я когда-то был чист, как свежевыпавший снег, — доверительно сообщил Габри Констанс. — А потом меня понесло.

Оливье и Констанс рассмеялись.

— В сторону Мэй Уэст? — спросила Рут. — А Этель Мерман[1] не заревнует?

— Тут места хватит для всех, — сказал Оливье, глядя на своего крупного партнера.

Констанс прежде никогда не имела дела с гомосексуалами, а если и имела, то не ведала об этом. Знала о них лишь то, что они — это «они». Не «мы». И «они» были извращенцами. Если же она пребывала в благодушном настроении, то считала гомосексуалов дефективными. Больными.

Но в основном она думала о них неодобрительно. Даже с отвращением. Если вообще думала.

Однако четыре дня назад ее взгляды начали меняться. С тех пор как пошел снег и деревенька оказалась отрезанной от большого мира. С тех пор как она узнала, что именно Оливье, к которому она поначалу отнеслась с прохладцей, откопал ее машину. По доброй воле и без лишних слов.

С тех пор как она увидела из окна своей спальни над книжным магазином Мирны, что Габри, согнувшись под напором ветра и снега, несет кофе и теплые круассаны жителям деревни, не сумевшим добраться до бистро к завтраку.

На ее глазах он доставил еду, потом очистил от снега их крылечки, лестницы и дорожки.

И ушел. Направился к следующему дому.

Констанс почувствовала, как Оливье надежно поддерживает ее под локоть своей твердой рукой. Если бы сейчас в деревне оказался кто-то со стороны, что бы он подумал? Что Габри и Оливье — ее сыновья?

Она бы не возражала.

[1] *Мэй Уэст* (1893–1980) — американская актриса, секс-символ и одна из самых скандальных звезд своего времени. *Этель Мерман* (1908–1984) — американская актриса и певица, вела бурную сексуальную жизнь.

Констанс вошла в бистро и ощутила ставший знакомым запах. Темные деревянные балки и широкие сосновые доски пола успели за прошедший век пропитаться запахом горящих кленовых поленьев и крепкого кофе.

— Сюда!

Констанс пошла на голос. Сквозь окна, разделенные средниками, проникал тусклый декабрьский свет, почти не освещавший бистро. Ее глаза скользнули по большим каминам в обоих концах зала: там плясали веселые язычки пламени, а вокруг каминов стояли удобные диваны и кресла. В центре бистро располагались старинные сосновые столы, на которых поблескивали серебряные приборы и стояли разномастные тарелки тонкого фарфора. Большая пушистая елка в углу мигала красными и зелеными огоньками, на ее ветвях были хаотично развешены всевозможные безделушки, шарики, сосульки.

Несколько посетителей, сидевших в креслах, попивали кофе с молоком или горячий шоколад и читали вчерашние газеты на французском и английском.

Оклик раздался из дальнего конца зала, и хотя Констанс еще не видела женщину отчетливо, она точно знала, кто ее зовет.

— Я взяла для вас чай.

Мирна стояла в ожидании у одного из каминов.

— Ты бы поговорила с ней, — сказала Рут, садясь на лучшее место у огня и кладя ноги на скамеечку.

Констанс обняла Мирну, почувствовала ее мягкое тело под толстым свитером. Хотя Мирна была крупной чернокожей женщиной лет на двадцать моложе ее, она казалась Констанс матерью и даже пахла как ее мать. Поначалу это выбивало Констанс из колеи, словно кто-то слегка подталкивал ее. Но потом она приобрела вкус к объятиям Мирны.

Прихлебывая чай, Констанс поглядывала на пляшущие язычки пламени и вполуха слушала разговор Мирны и Рут о последней партии книг, доставку которых задержал снег.

Она поймала себя на том, что согрелась и начинает клевать носом.

Четыре дня. И вот уже у нее появились два сына-гея, большая черная мама и спятившая подружка-поэтесса, а сама она стала подумывать, не обзавестись ли уткой.

Нет, совсем не этого ожидала она от своей поездки.

Она задумалась, загипнотизированная огнем. Вряд ли Мирна понимала, зачем Констанс приехала. Зачем нашла ее по прошествии стольких лет. Было очень важно, чтобы Мирна поняла, но теперь время истекало.

— Снег прекращается, — сказала Клара Морроу.

Она провела рукой по волосам, пытаясь привести их в порядок, однако получилось только хуже.

Констанс встряхнулась, осознав, что пропустила момент появления Клары.

Она познакомилась с ней в первый же день приезда в Три Сосны. Их с Мирной пригласили на обед, и Констанс, которая рисовала себе тихий обед наедине с Мирной, не сумела вежливо отказаться от приглашения. Поэтому они облачились в пальто и сапожки и двинулись к Кларе.

Предполагалось, что их будет трое, и она ожидала этого с опаской, но тут явилась Рут Зардо со своей уткой, и вечер из плохого превратился в провальный. Утка Роза весь вечер покрякивала что-то похожее на «фак, фак, фак», а Рут бесконечно пила, бранилась, всех оскорбляла и перебивала.

Констанс, конечно, слышала про нее. Награждение сей поэтессы премией генерал-губернатора практически означало, что Канада готова иметь съехавших с катушек, озлобленных лауреатов в области поэзии.

Но кто тебя обидел так,
что ран не залечить,
что ты теперь любую
попытку дружбу завязать с тобой
встречаешь, губы сжав?

Вечер шел, и Констанс поняла, что это хороший вопрос. Ей хотелось задать его спятившей поэтессе, но она остереглась из опасения, что в ответ у нее спросят то же самое.

Клара приготовила омлет с расплавленным козьим сыром, к которому прилагались зеленый салат и свежие, еще теплые багеты. Ели они в большой кухне, а когда закончили и Мирна приготовила кофе, Рут и Роза отправились в гостиную, а Клара повела Констанс в свою мастерскую. Там было тесно от кис-

точек, палитр, полотен. Пахло масляными красками, скипидаром и перезрелыми бананами.

— Питер не отстал бы от меня, пока бы я тут не убрала, — заметила Клара, глядя на этот кавардак.

За обедом Клара рассказывала, что они с мужем расстались. Констанс изображала сочувствие, размышляя, не выбраться ли ей отсюда через окно в туалете. Умереть в снегу от холода немногим хуже, разве нет?

И вот Клара снова заговорила о муже. Об изгнанном муже. Выволакивала на свет божий свое белье. Выдавала подробности. Это было неприглядно, неприлично и ненужно. И Констанс захотелось поскорее домой.

Из гостиной то и дело раздавалось «фак, фак, фак», причем она не могла разобрать, чей это голос — утки или поэтессы.

Клара прошла мимо мольберта. На полотне виднелись призрачные очертания того, что со временем могло превратиться в человека. Констанс без особого энтузиазма последовала за Кларой в дальний конец мастерской, где та включила лампу, осветив маленькое полотно.

Поначалу оно показалось Констанс неинтересным, совершенно неприметельным.

— Я бы хотела вас написать, если не возражаете, — сказала Клара, не глядя на гостью.

Констанс ощетинилась. Неужели Клара узнала ее? Неужели ей известно, кто она такая?

— Вообще-то, возражаю, — ответила она твердым голосом.

— Я вас понимаю, — сказала Клара. — Не уверена, что я была бы в восторге, пожелай кто-то написать меня.

— Почему?

— Я боюсь того, что во мне могут увидеть.

Клара улыбнулась и пошла назад к двери. Констанс двинулась за ней, но напоследок еще раз взглянула на маленький портрет. На нем была изображена Рут Зардо, которая теперь заснула и похрапывала на диване в гостиной. На картине старая поэтесса тонкими, похожими на когти пальцами вцепилась в синюю шаль, стягивая ее у горла. Вены и сухожилия на ее шее просвечивали сквозь кожу, прозрачную, как папиросная бумага.

Кларе удалось передать ожесточенность Рут, ее одиночество, ее неистовство. И Констанс вдруг поняла, что не в силах оторвать глаз от портрета.

У дверей мастерской она оглянулась. Ее глаза утратили прежнюю остроту, но, чтобы увидеть то, что сумела передать Клара, и не требовалось особой остроты. Клара изобразила Рут, но и еще кого-то. Образ, который Констанс помнила со своего коленопреклоненного детства.

Это была старая полоумная поэтесса, но также и Дева Мария. Матерь Божья. Забытая, обиженная. Всеми покинутая. Взирающая на мир, который больше не помнил, кого она родила ему.

Констанс порадовалась, что не дала разрешения написать свой портрет. Если так Клара видела Матерь Божью, то что она увидит в Констанс?

Позднее тем вечером Констанс, словно случайно, снова подошла к дверям мастерской.

Единственная лампа по-прежнему освещала портрет, и даже от дверей Констанс видела, что хозяйка мастерской изобразила не просто безумную Рут. И не просто забытую и озлобленную Марию. Пожилая женщина смотрела вдаль. В мрачное, одинокое будущее. Но... Но... Где-то там, почти недосягаемое, едва намеченное, было что-то еще.

Клара передала отчаяние, но также и надежду.

Констанс взяла кофе и вернулась к Рут и Розе, Кларе и Мирне. Она стала прислушиваться к ним. И начала, пока лишь начала понимать, каково это — уметь увидеть суть человека.

Это случилось четыре дня назад.

А теперь она складывала вещи и собиралась уезжать. Еще одна чашечка чая в бистро — и ее здесь не будет.

— Не уезжайте, — прозвучал тихий голос Мирны.

— Я должна.

Констанс отвела глаза от Мирны. Уж слишком много в их взгляде было личного. Она посмотрела на тронутое морозцем окно, за которым лежала засыпанная снегом деревня. Сгущались сумерки, и на домах и деревьях загорались рождественские огоньки.

— Могу я вернуться? На Рождество?

Последовало долгое, долгое молчание. И все старые страхи Констанс восприяли, выползая из этого молчания. Она опустила глаза на руки, аккуратно сложенные на коленях.

Она подставилась. Позволила себе поверить, что она в безопасности, что ее любят, что ей рады.

Но тут на ее руку легла большая ладонь.

— Я буду рада, — сказала Мирна и улыбнулась. — Мы славно повеселимся!

— Повеселимся? — переспросил Габри, шлепнувшись на диван.

— Констанс вернется на Рождество.

— Замечательно. Можете приехать на рождественское богослужение. Мы поем все хиты: «Тихая ночь», «Первое Рождество»...

— «Двенадцать геев Рождества»[1], — подхватила Клара.

— «И в голубые небеса», — добавила Мирна.

— Сплошная классика, — подытожил Габри. — Впрочем, на сей раз у нас будет кое-что новенькое.

— Я надеюсь, не «О святая ночь», — сказала Констанс. — Не уверена, что я готова для этого[2].

Габри рассмеялся:

— Нет. «Гуронская рождественская песня». Вы ее знаете?

Он пропел несколько тактов старинной квебекской песни.

— Мне нравится, — кивнула Констанс. — Но ее теперь никто не поет.

Впрочем, не стоило удивляться тому, что в этой маленькой деревне она нашла нечто почти утраченное остальным миром.

Констанс попрощалась, и под восклицания «À bientôt!»[3] они с Мирной пошли к ее машине.

Констанс включила двигатель, чтобы прогрелся. Для игры в хоккей на пруду было уже темновато, и дети уходили с площадки, брели по снегу на коньках, опираясь на клюшки.

Констанс поняла: либо сейчас, либо никогда.

[1] Обыгрывается название известной рождественской песни «Двенадцать дней Рождества».

[2] В этой рождественской песне верующих призывают встать на колени и ждать спасения.

[3] До скорого! *(фр.)*

— Мы тоже играли, — сказала она, и Мирна проследила за ее взглядом.

— Играли в хоккей?

Констанс кивнула:

— У нас была своя команда. Нас тренировал отец, а мама за нас болела. Это был любимый вид спорта брата Андре.

Она поймала взгляд Мирны. «Так, — подумала она. — Дело сделано». Наконец-то ее грязная тайна раскрыта. Когда она вернется, у Мирны будет тысяча вопросов. И Констанс знала, что теперь она сможет на них ответить.

Мирна проводила подругу взглядом и больше не вспоминала об этом разговоре.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Подумайте хорошенько, — произнес Арман Гамаш нейтральным голосом.

Почти нейтральным. Но во взгляде его умных карих глаз никакой нейтральности не было.

Их взгляд был жестким, холодным. Непреклонным.

Гамаш смотрел на агента поверх полукруглых очков и ждал.

В комнате для совещаний воцарилась тишина. Шуршание бумаги, дерзкое, пренебрежительное перешептывание — все стихло. Даже веселое переглядывание прекратилось.

Все уставились на старшего инспектора.

Инспектор Изабель Лакост, сидевшая рядом с ним, обвела взглядом собравшихся агентов и инспекторов. Шла еженедельная летучка отдела по расследованию убийств Квебекской полиции. Обычно они собирались для того, чтобы поделиться идеями и информацией по расследуемым делам. Если прежде такие летучки были продуктивными, то теперь Лакост стала их побаиваться.

И если у нее возникали такие ощущения, то что уж говорить о старшем инспекторе?

Впрочем, трудно было сказать, что думает и чувствует шеф.

Изабель Лакост знала его лучше, чем кто-либо из присутствующих. Она вдруг с удивлением поняла, что дольше всех служила под его началом. Остальных людей из старой гвардии перевели либо по просьбе, либо по приказу старшего суперинтенданта Франкёра.

А сюда стали направлять всякую шваль.

Самый успешный в стране отдел по расследованию убийств был уничтожен, умелые детективы заменены на ленивых, наг-

лых, некомпетентных громил. Впрочем, таких ли уж некомпетентных? В качестве детективов — безусловно, но в этом ли состояла их работа?

Нет, конечно. Лакост знала (и, как она подозревала, Гамаш тоже знал), почему новые люди оказались в отделе. Вовсе не для расследования убийств.

Невзирая ни на что, старшему инспектору Гамашу каким-то образом удавалось управлять ими. Контролировать их. Хотя и весьма условно. Лакост чувствовала, что баланс сил меняется. С каждым днем в отделе появлялись все новые агенты. И она видела, как они обмениваются понимающими улыбками.

Лакост ощущала, как в ней нарастает злость.

Безумие толпы. Безумие нахлынуло на их отдел. И каждый день старший инспектор Гамаш взнуздывал его и брал под контроль. Но даже ему это удавалось все с большим трудом. Сколько он еще продержится, прежде чем окончательно потеряет власть?

Инспектора Лакост одолевали многие страхи, но в основном связанные с ее маленькими сыном и дочерью — не случится ли с ними чего-нибудь. Она понимала, что ее страхи по большей части иррациональны.

Однако страх перед тем, что может случиться, если старший инспектор потеряет контроль, не был иррациональным.

Она встретилась взглядом с одним из старых агентов, который сидел ссутулившись, скрестив руки на груди. Он явно скучал. Инспектор Лакост посмотрела на него осуждающим взглядом. Агент опустил глаза и покраснел.

Стыдится самого себя. Ну да, а что ему еще остается?

Лакост продолжала сердито смотреть на него, пока он не выпрямился и не опустил руки.

Она кивнула. Победа, хотя и маленькая и, несомненно, временная. Но в такие дни даже маленькие победы шли в счет.

Инспектор Лакост снова повернулась к Гамашу. Его большие руки спокойно лежали на столе поверх еженедельного доклада. Рядом была авторучка, которой он пока так и не воспользовался. Его правая рука чуть подрагивала, и Лакост надеялась, что никто, кроме нее, этого не замечает.

Он был чисто выбрит и, казалось, ничуть не изменился. Мужчина под шестьдесят. Не сказать чтобы красивый, но весьма примечательный. Скорее похожий на профессора, чем на копа. Скорее похожий на исследователя, чем на охотника. От него пахло сандаловым деревом с оттенком розовой воды, а на работу он неизменно надевал пиджак и галстук.

Его темные ухоженные волосы поседели и чуть кудрявились у висков и за ушами. На лице виднелись морщины — неизбежное следствие возраста, забот и смешливости. Впрочем, его морщины не сильно углубились после недавних испытаний. И еще у него появился — и уже не исчезнет — шрам на левом виске. Напоминание о событиях, которые ни она, ни он никогда не забудут.

Его крупная шестифутовая фигура была внушительной. Не то чтобы мускулистой, но и не жирной. Он был основательным.

Основательным, думала Лакост. Как материк. Как мыс, вдающийся в огромный океан. Неужели непреклонная ныне стойкость все глубже прорезается морщинами и трещинами? Неужели образовавшиеся расщелины уже дают о себе знать?

Но в данный момент старший инспектор Гамаш не выказывал никаких признаков разрушения. Он смотрел на провинившегося агента, и даже Лакост не могла не испытывать к бедолаге некоторого сочувствия. Этот новый агент принял материк за песчаную косу. И только сейчас — слишком поздно — понял, с чем столкнулся.

На ее глазах пренебрежительность превратилась в беспокойство, потом в тревогу. Агент повернулся к своим друзьям в поисках поддержки, но они повели себя как трусливая стая гиен. Им не терпелось посмотреть, как его будут рвать на части.

До этого Лакост даже не догадывалась, с какой готовностью стая может наброситься на одного из своих. Или по меньшей мере отказать ему в помощи.

Она увидела пристальный взгляд Гамаша, устремленный на изворачивающегося агента, и поняла тактику шефа. Он испытывает их. Проверяет на взаимовыручку. Отделил одного из стаи и ждет — придет ли кто-нибудь спасать его.

Никто не пришел.

Изабель Лакост слегка расслабилась. Старший инспектор по-прежнему контролировал ситуацию.

Гамаш продолжал пристально смотреть на агента. Теперь заволновались и остальные. Один из них даже поднялся и сердито заявил:

— Меня ждут дела.

— Сядьте, — приказал Гамаш, не глядя на него.

И тот упал на стул как подкошенный.

Гамаш ждал. Ждал.

— Désolé, patron[1], — произнес наконец агент. — Я еще не допрашивал подозреваемого.

Его слова повисли в воздухе. Презренное признание. Все собравшиеся только что слышали, как агент врал о якобы проведенном допросе, и теперь ждали, как с ним поступит старший инспектор. Как он отдубасит своего агента.

— Мы поговорим после летучки, — сказал Гамаш.

— Да, сэр.

Реакция последовала незамедлительно.

Хитроватые улыбки. После демонстрации силы со стороны начальства они вновь почувствовали его слабость. Если бы он разорвал агента в клочки, они прониклись бы к нему уважением. Стали бы побаиваться. Но пока они лишь почуяли запах крови.

И Изабель Лакост подумала: «Да простит меня Господь, но мне жаль, что шеф не унизил, не опозорил этого агента. Не пригвоздил его к стене, чтобы другим неповадно было противостоять старшему инспектору Гамашу».

«Предел, его же не прейдеши»[2].

Но Изабель Лакост прослужила в Квебекской полиции достаточно долго, чтобы понять, насколько легче стрелять, чем говорить. Насколько легче кричать, чем аргументировать. Насколько легче унижать, дискредитировать, злоупотреблять властью, чем вести себя достойно и оставаться вежливым даже по отношению к тем, кто такими качествами не обладает.

Насколько больше мужества требуется для того, чтобы быть добрым, чем жестоким.

[1] Прошу прощения, шеф *(фр.)*.

[2] Книга пророка Даниила, 6: 7–8.

Однако времена изменились. Изменилась полиция. Она превратилась в структуру, где жестокость вознаграждалась. И даже культивировалась.

Старший инспектор Гамаш знал это. И тем не менее подставлял свою шею. Поступает ли он так намеренно, или он и в самом деле настолько ослабел?

Лакост уже и не знала.

Но она знала другое: в течение полугода старший инспектор наблюдал за тем, как громят его отдел, как насаждают туда никчемных людей. Плоды трудов Гамаша уничтожались. Он видел, как верные ему люди уходят. Или становятся его противниками.

Поначалу он отбивался, но ему наносили все новые и новые удары. Раз за разом он возвращался побежденным после разговоров в кабинете старшего суперинтенданта. И теперь в нем, казалось, почти иссякла воля к сопротивлению.

— Следующий, — сказал Гамаш.

И так продолжалось в течение часа. Каждый агент испытывал терпение Гамаша. Однако мыс держался. Никаких признаков разрушения, никаких признаков того, что происходящее подтачивает его силы. Наконец летучка завершилась, и Гамаш поднялся. Инспектор Лакост тоже встала, и после некоторой заминки один за другим начали подниматься остальные агенты. У дверей старший инспектор оглянулся и посмотрел на агента, который ему солгал. Всего один взгляд, но и его оказалось достаточно: агент двинулся за Гамашем в его кабинет. Перед тем как дверь закрылась, Лакост увидела промелькнувшее на лице Гамаша выражение.

Усталость.

— Сядьте.

Гамаш показал на стул, а сам занял вращающееся кресло за своим столом. Агент попытался сделать вид, будто ему все нипочем, но быстро сник при виде этого сурового лица.

Голос старшего инспектора звучал с прирожденной властностью.

— Вы довольны работой?

Вопрос застал агента врасплох.